

*Ирина Василькова*

## Паррезия, или Крипты речи

Долгожданная книга стихов Натальи Лясковской «Евангельская соль» (М.: «У Никитских ворот», 2020) выпущена столь малым тиражом, что остается только удивляться причудливым предпочтениям нашего времени. Другим раздарить — и то не хватит. А поэт Лясковская — редкий.

Сверхплотность — главное свойство поэтического языка автора. Почему я начинаю не со смысла, а с языка? Потому что он затягивает еще до смысла. Язык у Лясковской абсолютно свой. Она никому не подражает, ее просодия легко и естественно вырастает из народной почвы.

Как забыть первое впечатление от стихов двадцатилетней Наташи, услышанных в Литинституте на винокуровском семинаре — помимо яркого метафоризма в них срабатывал *звук!* В тот же день я, взволнованная, помчалась в больницу навещать друга, к сожалению, рано от нас ушедшего, лучшего знатока и ценителя поэзии в нашем семинаре, взахлеб рассказывала ему о Наташе, читала наизусть ее стихи, которые зачаровали настолько, что запомнились сразу же, вместе с голосом.

«Евангельская соль» построена как единый массив из ста с лишним стихотворений, композиционно не разделенный на части, и это тоже авторский прием. Читателю придется изрядно потрудиться над этой «этнографической глиной», требующей соучастия и сотворчества. И читатель тут требуется особый: получающий особое удовольствие от сложно устроенного текста — любители легкого чтения могут быть свободны. В чем же сложность?

Стихи Лясковской удивительно многомерны, в них работают связи между всеми уровнями текста, их трудно цитировать. Лексический диапазон Лясковской невероятно широк и удивительно пестр — от латинских высказываний до грубого уличного сленга. Здесь перемешаны церковные слова и славянизмы, молодежный и айтишный жаргон, суржик и неологизмы, филологические и ботанические термины, фольклорные обороты, идиомы, мифологические имена... Строгий ценитель, отформатированный классикой, может счесть, что такая эклектика не на пользу стилю, но крутой речевой микс характерен для наших современников, где бы они ни жили. Другое дело, что сограждане в большинстве своем стихов не пишут.

---

*Василькова Ирина Васильевна* — поэт, прозаик, эссеист. Родилась в подмосковных Люберцах. Окончила Геологический ф-т МГУ, Литературный институт им. Горького (семинар Евгения Винокурова) и ф-т психологии Университета Российской Академии Образования. Преподает в школе, руководит детской литературной студией «19 Октября». Автор пяти сборников стихов, в том числе «Южак» (М., 2016) и трех книг прозы, последняя — «Ксенолит и другие повести» (СПб., 2015). Живет в Москве.

Важно отметить, что поэт работает в рамках чистой силлабо-тоники. Ритм и рифмы Лясковской — не просто демонстрация виртуозного версификаторства, а важнейший инструментарий ее поэтического мира. Разговорные, нередко фольклорные интонации, наложенные на ритмическую основу, так и склоняют произносить эти стихи речитативом, тем более, что этому способствует «фирменная» длинная строка, прошитая внутренними рифмами. Лясковская мастерски это делает.

Об этом замечательно написал Сергей Аверинцев в статье «Ритм как теодицея» («Новый мир», № 2, 2001): «“содержание” — это каждый раз человеческая жизнь, а “форма” — напоминание обо “всём”, об “универсуме”, о “Божьем мире”; “содержание” — это человеческий голос, а “форма” — все время наличный органнй фон для этого голоса, “музыка сфер”. <...> Человеческому голосу, говорящему свое, страстное, недоброе, нестройное, отвечает что-то вроде хора сил небесных — через строфику, через отрешенную стройность ритма».

Само название книги «Евангельская соль» и эпиграф к ней из Евангелия от Марка говорят о том, что мы имеем дело с духовной поэзией, той, в которой — по определению Ирины Роднянской — есть «встреча с духовной реальностью Присутствия».

В статье «Новое свидетельство» («Новый мир», № 3—4, 2011) Роднянская отмечает: «...современные стихи вписываются в <...> традиционные “форматы” лишь отчасти, находясь даже в некоем контрасте с ними. Они желают иметь дело не с постулатами религиозного предания, а с проблематичностью веры, даже когда ее Источник уже обнаружился в личном опыте». И там же: «В о л ь н о е о б р а щ е н и е с о с в я щ е н н о й п и с ь м е н н о с т ь ю — замысловатая и порой ошеломляющая черта духовного неobarocko. Переложения псалмов, поэтический пересказ преданий и житий, стихи на темы уставных праздников — все это в изобилии бывало раньше. Но обыкновенно оно было как бы созерцанием, любованием извне, с расхождением, исключаяющего риск; нынче же — вторжение в мир традиции в качестве непрощеного участника или дерзкого экзегета, пролом сквозь всё те же стены и перегородки».

Уже первое стихотворение — всегда заманка — увлекает читателя в чужую поэтическую вселенную. Предлагает ключ, но захочется ли идти дальше? Первое впечатление — безумный речевой вихрь, одно название чего стоит: «нотация почти по Гельмгольцу». Нотация — это музыкальный термин, способ записи музыки посредством графем. Выглядело бы серьезным, если бы не слово «почти». Затем следует эпиграф из песни группы «Scorpions»: «*Let your balalaika sing...*» и так далее. Сквозь серьезность просвечивает игровое лукавство автора: «я вам шаз тут сыграю!» Это самоопределение, самопрезентация — она «пева». Та, которая поёт и о которой по Москве ходит «лоскутная молва», отражая бинарные ипостаси лирической героини — то «жар-девица», то побирушка-нищенка. Но какова поэтическая хватка! Бойкий хорей с терцетами на одну рифму похож на народную шуточную песенку. Переход от первой строки с цезурой к двум бесцезурным создает постоянное ускорение. Строки мчатся на одном дыхании, лирический напор — по самое не могу. Какое празднество красок и звуков! Будто малявинский «Вихрь» — сгусток женской энергии, жар почти запредельного масштаба.

чуть стихом заговорит — логос сам себя творит  
 акробаты акрофуты кто вертится кто парит  
 а вокабулы на каблах киммерийский шкварят бит  
 .....  
 ямб да троп парчой горят как игрушки у царят  
 сёстры семы и лексемы карагодят рядом в ряд

Ничего себе «забавляются игрой!» Здесь сам праязык в предельном значении. Балаган на площади все громче, звук все круче, выше, там и птица Рух в апофеозе —

и вдруг «трень», лопнула струна. Тишина. Так что это было? Героиня и сама не знает — ее захватило и понесло. Знает только сам Судья, и в этом суть позиции автора.

Что же это за ключ такой к книге? Здесь целый путеводитель по «Евангельской соли», система главных образов и тем. Героиня-искусница, не принятая неласковой Москвой, демонстрирует почти в скоморошьем экстазе парад своих умений, но это все внешнее, на публику, а что внутри — сокровенное, о том только Бог знает.

Следующее стихотворение, «Лисица-купина» не менее горячо. Сказочная, неслгораемая лиса несет нашу героиню «как лялечку»:

а там — помилуй Бог аж забывает вдох  
как из мешка горох не разберя дорог  
по морю поплывох по скалам поскакох  
пожар переполох

Что это — еще одно авторское воплощение? Или стихия речи, выносящая героиню за пределы обыденности? И то, и другое. Такой лирический напор не требует знаков препинания, он, как бурная река, сметает их.

Книга «Евангельская соль» объемом в 220 страниц — это поток жизни, который не дробится на фрагменты. Однако отдельные стихи все же стягиваются в циклы, хотя и не обозначенные автором. В первых стихотворениях продолжается своего рода самопрезентация лирической героини, серьезное, но ироническое обоснование ее жизненной позиции:

в юродской простоте с улыбкой на губах  
вишу я в пустоте сижу я на бобах  
то душу подлечу — она и не болит  
то к солнцу подлечу — оно и не палит

Но развеселый кураж лихой горячки быстро сменяется другой темой, бытовой, тяжелой, женской:

боюсь Цветаевой — она влезает в кровь и шепчет воспалёнными устами  
в седьмом ребре есть древняя любовь ещё не осенённая крестами

«Не осенённая крестами» любовь неминуемо превращается в драму, хотя и без привычных стенаний и жалости к себе, как часто бывает в женской любовной лирике. Тема любовных неурядиц решается у Лясковской в иных, евангельских координатах:

любовь и боль целитель и палач  
ну что поделать коль они равновелики  
и я прошу — домучиться позволь  
принять её как горнюю награду  
ведь эта боль — евангельская соль  
так не лишай меня её Христе  
не надо

Наряду с принятием боли появляется новый поворот — мотив непощения, который прозвучит еще не однажды:

простить — на то прости я не имею сил  
ведь даже Иисус иуду не простил

Лясковская понимает статус женщины в мироздании как воительницы, стоической участницы «незримых битв». Такая позиция помогает переживать тяготы тяжелого быта, не упиваясь своей трагедийной ролью, трезво решать житейские проблемы и чувствовать себя еще одним воплощением Пенелопы, выполнившей свое задание:

и седина пробилась под платком но я не сдамся я стальной заточки  
и снова по ночам стучу утком и тку судьбу рядочек за рядочком

В книге выделяется цикл стихотворений — Умань, украинское детство, мама, коровы-«сестрицы», дедова яблоня как древо рода, в которых слова, сказанные «сердцем радостным как яблоко в блаженной юности раю». Эти густо населенные человеческими персонажами воспоминания, казалось бы, помогают преодолеть трагизм действительности, и поэту хочется хотя бы виртуального возвращения

в дивный край где родилась я в край цветущий  
где краше райских зрели кущи Украина — чисто каравай  
награда Божья за труды хлеб-исполин на блюде мира  
где в бело-розовых зефирах вишнёвых облаков сады

Среди стихов о детстве есть одно неожиданное — квинтэссенция трагедии и травмы, «ботаника жизни и смерти». После описания пышной уманской растительности героиня рассказывает жуткую историю о девочке, растерзанной под туей маньяком-отчимом.

И снова возникает тема вины, которую простить невозможно («я плохой свидетель из меня негожий/ образец смиренья — на закон плевать/слова мне безумной милостивый Боже/ на Суде Последнем можешь не давать/только глянь как губы пальцы искусала/ сердце растерзала мозг разорвала») — так женская, материнская ярость, обращенная в прошлое, не допускает возможности смирения и прощения в настоящем.

У американской писательницы Урсулы Ле Гуин в известном романе «Волшебник Земноморья» сюжет завязан на возникновении трещины в мироздании, через которую в мир попадает бесформенная Тень, абсолютное Зло. Подобные трещины, нарушение божественной гармонии — одна из основных тем поэзии Натальи Лясковской.

Вот умирающая в больнице девочка-ангел в окружении соседок по палате («во Царство Божие через страданье вниду молилась девочка мене Христе возьми//а бабы дуры восхищались фридой и коллонтай и прочими б...ми»).

Тема гибели ребенка для Лясковской не риторическая фигура, но личное горе — потеря дочери, «младенца Нины». Отсюда корни грузинских мотивов ее поэзии — история Святой Нино, легенда о Святой Рипсиме, храм в Бодбе с гробницей. И в этом пространстве героиня существует не как в личном мирке, она в потоке истории, в духовном единении с христианскими подвижницами.

В жизни есть чудеса — и об этом обширный цикл стихов о давних, но не забытых спутниках по общежитскому бытованию, бережно относившихся «к очкастой дуре с книгой», которая «в слезах Асадова и Бродского читала». Есть стихи и про литинститутских однокашников, уже совсем своих:

в родном литинститутском околотке меж тьмой и светом краток интервал  
«посеребрим кишки крещенской водкой» нас Лёша Паршиков напевно призывал  
неутолимо говорили в рифму сплетались голоса в органнй звон  
Иван ловец лингвальной парадигмы боль загонял в иглу колдун чалдон  
смеялись пели танцевали пили детей рожали не страшась сумы  
о как же мы бессребренно любили как погибали бескорыстно мы  
распался круг метафорного пула года осыпались как цифры на часах  
кто выгорел кому башку надуло в густых металлургических лесах  
иных уж нет а те в заморских далях но мы с тобой счастливее стократ  
хоть много горя крестно отстрадали по-русски наши дети говорят  
мейнстрима мимо суетного стрёма ведь разве метка нам на лбу важна  
подруга юности коронного Ерёмы или Ерёмы сильно бывшая жена

В книге много посвящений друзьям, ушедшим и живым. До чего же радуется присутствие знакомых имен! Игорь Меламед, Эргали Гер, Лидия Григорьева, Галина Климова, Ефим Бершин, Елена Черникова, Юрий Юрченко, неназванный метафорист и люди, скрытые под инициалами, — и это не просто посвящения, не просто фон, но целый хор — голоса звучат, ассоциации ветвятся — еще один сад вырастает на глазах.

Говоря о книге Лясковской, можно ли пройти мимо сквозной темы — трагического ощущения нескончаемой войны («она всегда со мной — война она иглой в крови гуляет и хлеб насущный отравляет и скалится с ночного дна»)? Евангельская заповедь «мир имейте между собою», заявленная в эпитафии, в нашем мире оказывается невыполнимой между людьми, заикленными на своей правоте.

И сошлись однажды наши да враги,  
призывает каждый: «Боже, помоги!»  
Все несут иконы, крестятся пучком,  
все кладут поклоны, падают ничком...  
.....  
Не сыскали слова, чтобы мир сберечь —  
чи скінчилась мова, аль иссякла речь?  
.....  
Завтра снова битва, затишь недолга.  
Слышится молитва в лагере врага,  
наши в храмах тоже, наших не сломать...  
Вот кому Ты, Боже, будешь помогать?

Трагизм усиливается невозможностью выбора — ведь друзья оказались и по ту, и по эту сторону («рассвет медсестры с топчанов встают в далёком крае петухи поют /что за окном Россия Украина/ нет просто Родина — одна она у нас /и я лечу над нею в судный час / на крыльях утра и новокаина»).

А когда выбрать нельзя, что остается поэту? Если словами Максимилиана Волошина, то молиться за тех и за других. Или — принять на себя боль тех и других, что и делает Лясковская в стихотворении «А вдруг это не я убита под Донецком»:

и старики чей мир опять войной разорван  
погибшие в боях отцы и сыновья  
и матери в слезах и дочери по моргам  
все эти люди я  
все эти люди я

Характерная для женской поэзии тема прощания с эросом у Лясковской звучит с присущим ей эпатажем:

собрала чемодан и в прихожую — нет уж подальше — пинками за самую дверь  
забирай да вали всё закончилось vale — издох зверь либидо постылый поверь  
мне теперь всё равно день-июнь за окном утро-вечер январская ночь  
прочь потрёпанный эрос минхерос старперос роспис кобельерос и проч  
знам отрядным внимать где играют в раю птицы ангелы люди цветы и коты  
и не знать ничего кроме смыслов евангельских пусть говорят что раба что овца  
и на сына смотреть снизу вверх как на старшего брата и даже всё чаще отца  
за любимых молиться да петь — птица эй поэтица по небу по речи по русской пльиви  
я невинность верну телу мыслям словам  
и стихам  
и душе  
и любви

Рай тут забавный, в стиле украинской народной живописи на стекле. Но истинный смысл стихотворения — в строчке про сына, который мало того, что становится смыслом ее жизни, но старшим братом и отцом. Это, с одной стороны,

обретение опоры, а с другой — опять же заделывание дыры в мироздании, опять подмена ролей. Ева, где твой Адам? И все-таки это точка сборки:

крипты речи меня поведут за собой в подалтарную часть бытия  
где трепещет во тьме свечевидный гобой и ему в попадание я  
где нетленно дыхание древних святых а на книгах Христовы тавра  
где познаешь себя словно врежут под дых где-то в точке седьмого ребра  
проступает на сердце библейская соль мир воскресший осанну поёт  
там любовь побеждает страданье и боль  
где мой сын на молитву встаёт

Сын на молитве — символ побеждающей любви, ощущение выполненного долга матери, надежда на то, что не распадется связь времен. И неудивительно, что последние стихотворения книги выстраиваются в цикл — подведение итогов.

так нет же нет не сметь к смиренью путь иной я выберу опять ведь для меня не ново  
сквозь буерак переть и смерть ловить спиной и прикрывать главу дерюгой терновой  
и представлять мейнстрим в юродивых стихах тем для кого писать лишь способ делать деньги  
и видеть райский крин в дырявых лопухах  
и по-вьетнамски выть  
и по-пермяцки веньгать  
и сложенный крестом хохляцко-польский пых хранить под рушничком на дне старинной  
скрины  
я в семьдесят шестом отстала от своих и там моя любовь осталась к Украине  
уходит жизнь друзья и я зажав в горсти признаний вам в любви проросшую пшеницу  
кладу их как залог другого бытия за русского письма вселенскую божницу

Вернемся к высказыванию И.Роднянской о современной духовной поэзии: «иметь дело не с постулатами религиозного предания, а с проблематичностью веры». Это создает контрасты, на которых и держится поэзия Лясковской. Смирение, но не в привычном смысле — ведь ей непросто, отвергая жестокость мира, утешиться в молитве. Не дает покоя чувство вины, и героиня исследует пределы прощения и непрощения. Она винит себя за страшный грех — за то, что, потеряв дитя, «прокляла мороз по коже и сто раз подряд/ и Тебя Вершитель Судеб/ и врачей и смерть/ и удел вручённый людям/ где страданий вщерть». Поэтому жить теперь нужно — как отмаливать. А труд такого рода требует стойкости и отваги. «Ты причастна скажет мне следак потому что надо было тихо/ рвать паррезий дерзкие шутихи — ты ж как дура бах да перебах». Тут моих лексических познаний не хватило, пришлось лезть в интернет. И, конечно, нашелся еще один ключ, возможно, главный. Паррезия — это прямодушие, откровенность, искренность в речах. В общем, в бой с открытым забралом! Не раба и не овца, а дева-воительница, но не с мечом, а с иглой, чтобы «латать расколы — в сердце, в храме, в мире».

Перечитывать эту книгу можно долго. Мне хотелось бы продолжения разговора, потому что о Наталье Лясковской говорят и пишут крайне мало. Видимо, она выпадает из всех «обойм» и классификаций, проходит сквозь них, как вода сквозь сети. Интересно: что сказали бы об этой книге «фем-поэтки» или те, кто сейчас активно разрабатывает «поэтику травмы»?

Лясковская далека от всякой литературной суеты, и слава Богу:

что жалеть об утратах прошедших в закромах уж и зёрен-то нет  
рядом каждый второй сумасшедший каждый третий великий поэт  
будь хоть лыком кевларовым шиты — всё обиды прожёт кипяток  
нет от боли надежней защиты чем матронушкин ветхий платок  
да багряная ксеньяна блузка да свечи негасимой отвес  
да молитвы молчание русской  
достающей  
до самых небес